

Т. А. Михайлова

Институт языкознания РАН (Москва)

The Journal of Indo-European Studies.

Vol. 37, № 3—4, 2009

Древнеиндийская тематика предыдущего выпуска журнала (см. обзор А. С. Крыловой в № 5 ВЯР) продолжается и в следующем. Номер открывается статьей К. Ангелина «Высший шаг Вишну» (Catalina Anghelina. *Viṣṇu's Highest Stride*, pp. 277—298), посвященной теме знаменитых «трех шагов Вишну». Новый подход к такой, казалось бы, более чем изученной теме, безусловно, не прост, однако автор пытается дать ее свежую интерпретацию, опираясь на сопоставительный материал, в основном — древнегреческий. Привлекая содержащиеся в *Viṣṇu Purāṇa* данные, она приходит к выводу, что «третьим шагом» бог Вишну достигает основного локуса своего пребывания — Северного полюса. В данном случае К. Ангелина приводит для сопоставления предания «алтайских народов Сибири» (р. 280, согласно которым их верховное божество также локализуется на вершине горы, символизирующей Северный полюс в его небесной эманации. Аналогичную гору — локус высшего божества она видит и в греческом Олимпе, делая при этом вывод о несомненном архаизме данной традиции, восходящей к доведийским мифологическим представлениям. Что касается самих «шагов Вишну», то здесь автор предлагает видеть не отражение космогонической традиции, делящей мир на землю, воздух и небо, и не отголоски солярного мифа (справедливо отмечая, что точка зенита смещается в зависимости от времени года), но архаические астрономические представления. Так, своими «шагами» Вишну, по ее мнению, перемещается по точкам движения от Полярной звезды к созвездию Большой Медведицы и, далее, к небесному Северному полюсу. Бог Вишну, таким образом, символизирует не столько пространство, сколько время, образующее вечную *axis mundi*. При этом «ведический космос» в ее интерпретации получает эсхатологический смысл: «южная его часть принадлежит умершим, северная — тем, кто завершил свой

Путь и по той или иной причине избежал реинкарнации, а над Большой Медведицей находится жилище богов, которые следят за людьми» (р. 296). Аналог данного «наблюдения и управления» автор опять-таки видит в традиции древнегреческой. При этом, как она отмечает, логично было бы на фоне сказанного, если бы наивысший локус занимал и верховный бог — Индра, однако расположение в высшей точке времени Вишну, по ее мнению, может быть следствием того, что миф о Вишну имеет доиндоевропейское происхождение. «Сходные темы можно найти в шаманистских верованиях алтайцев в Северной Азии, и истоки мифа следует искать там» (р. 296). Статья завершается справедливым утверждением о том, что человек с самых древних времен смотрел на звезды, стараясь найти там ответы на вечные проблемы бытия и мироздания.

Статья Д. Адамса «Генитив и адъективы в тохарском» (Douglas Q. Adams. *Genitive and Adjective in Tocharian*, pp. 299—320) демонстрирует англоцентричное мышление самого автора, для которого «нормальным» способом дефиниции имени является образование генитива другого имени, а редкая адъективация служит для передачи неопределенности объекта (ср. его пример: *the power of the president ~ presidential power*). Адъективизация имени собственного при этом, естественно оказывается невозможной: ср. *Sam's book ~ *Samuelan book* (р. 300). Однако, тохарский (в основном — тохарский В) дает здесь совершенно иную картину, сближаясь в этом, как показывает автор, отчасти с греческим языком и «некоторыми славянскими». В работе приводятся тщательные подсчеты встреченных альтернативных форм (генитива/адъектива), в результате которых автор приходит к выводу, что фактор определенности/неопределенности в данном случае оказывается не всегда релевантным, хотя определенная закономерность и сходство с «за-

падными» языками здесь также имеет место (так, подсчеты именных групп с NP дали всего 4% адъективных образований, а прилагательное *lantuññe* имеет абстрактное значение ‘царский’, в то время как генитив *lānte* означает ‘принадлежащий царю’ и обычно сопровождается именем собственным). Наиболее релевантными признаками для формообразования, как показывает Д. Адамс, в тохарском являются такие показатели, как абстрактность/конкретность и одушевленность / неодушевленность (в последнем случае обозначения животных проявляют большую склонность к адъективным образованиям, чем обозначения людей). Кроме того, им было выведено «тохарское правило» (р. 305), согласно которому при расширении именной группы генитивы, как правило, превращаются в адъективы, например: *kewiye melteşe şpel* ‘припарка коровьего навоза’. Сопоставление с другими и.-е. языками демонстрирует наибольшую близость с греческим и церковнославянским, тогда как английская конструкция типа *a Shakespirian sonnet* представляется автором заимствованной из восточных языков (р. 315). В заключение автор высказывает предположение, что обильная отыменная адъективация характеризует раннее состояние развития языка и что, возможно, она была широко представлена в праиндоевропейском.

Статья М. Эгелера своим длинным названием суммирует все идеи автора: «Текстуальные отражения доисторических контактов: некоторые соображения по поводу женских демонов смерти, героической идеологии и понятия путешествующей элиты в европейской ранней истории» (Textual Perspectives on Prehistoric Contacts: Some Considerations on Female Death Demons, Heroic Ideologies and the Notion of Elite Travel in European Prehistory, pp. 321—349). Автор сравнивает демонов войны и смерти, имеющих одновременно женскую и птичью ипостась (ирландские Бодб и Морриган, скандинавские валькирии, этрусская Ванф, греческие сирены и проч.) и приходит к выводу, что все эти демонические персонажи связаны в первую очередь с идеей смерти на поле битвы и, во-вторых, с опасностью воина в странствии. Распространение данной мифологемы, как полагает автор, было связано с идеологией «путешествия» (скорее — индивидуального, чем военного похода), в которое пускались представители военной элиты индоевропейцев для освоения новых земель. Ключом к данной идеологеме автор считает др.-исл. лексему *heimdragi*, имеющую отрицательные коннотации и означающую буквально «домо-пребывающий, остающийся дома». Выводы выглядят

вполне убедительно, однако, к сожалению, в статье не ставится вопрос о хронологических рамках данных странствий: разброс материала во времени слишком велик — от сер. I тыс. до н. э. до эпохи викингов.

Объемная работа Г. Янакиса «(Историческая) лингвистика и (классическая) филология» (Georgios K. Giannakis. (Historical) Linguistics and (Classical) Philology, pp. 351—397) призывает индоевропейцев не замыкаться в своей методологии лишь в одной области исследования — либо собственно лингвистической реконструкции, либо сравнительно-исторической мифологии и социологии. Как справедливо показывает автор, метод, названный им ‘linguistics cum philology approach’ (р. 356), оказывается более перспективным, потому что сочетает в себе, с одной стороны, понимание архаической системы социальных взаимоотношений индоевропейцев (как и более поздних сообществ), с другой, знание регулярных фонетических соответствий. Работа опирается в основном на древнегреческий материал, как и было объявлено в ее названии. Так, например, в статье приводится множество дериваций и.-е. основы **h₂aǵ-* ‘вести, направлять’ и анализируются механизмы семантических переходов и особенностей сложения основ, порождающих новые лексемы (*пастух, торговец, состязание воинов* и проч.), взятых из книги Najnal I. *Mikenisches und homerisches Lexicon* (Innsbruck, 1998). В то же время в работе сопоставляются такие, казалось бы, тождественные не только семантически, но и генетически слова как греч. θεός и лат. *deus* ‘бог’. При семантическом тождестве и фонетическом подобии, как показывает автор, эти лексемы не могут восходить к одному этимону, поскольку начальное лат. *d-* восходит к и.-е. **d-*, тогда как греч. θ- — к и.-е. **dh-*; таким образом, базой для греческого слова оказывается и.-е. **dheh₁* ‘ставить, размещать, создавать’ (р. 368). Не обойдено вниманием, с другой стороны, и знаменитое армянское *erku* ‘два’, имеющее надежную обще-и.-е. этимологию, которая на первый взгляд действительно вызывает чувство дилетантского потрясения. Г. Янакис призывает в своей работе к междисциплинарности и в качестве положительного примера приводит имена К. Уоткинса, Т. Гамкрелидзе и Вяч. Иванова, Р. Антиллы, Дж. Мэллори и Д. Адамса, Н. Казанского и ряд других. Отрицательные примеры выглядят несколько фантомообразно. Возможно, классическая филология в настоящее время действительно переживает своего рода кризис, и призыв автора к коллегам — встать на базу правильной методологии и обратиться к индоевропейским па-

раллелям, а также следить за точными фонетическими соответствиями — звучит далеко не наивно. Хочется верить, что он будет услышан.

Статья Й. Рахимана и Ф. Хаияни «Семантика и прагматика *râ* в персидском: диахронное и синхронное исследование» (Jalal Rahimian and Farrokh Hajani, *Semantic-pragmatic functions of *râ* in Persian: a diachronic and synchronic study*, pp. 399—420) посвящена в основном прагматике частицы *râ* на современном языковом уровне, где она представляет собой маркер прямого объекта, имеющий референциальные признаки. Иными словами, постановка *râ* в постпозиции по отношению как к имени, так и глаголу отсылает говорящего к описанной выше ситуации (в статье приводится много убедительных примеров и даже схем-деревьев). В то же время, как показывают авторы, в древнеперсидском *radiy* имело ограниченную семантику и вводило каузацию — «с какой целью, зачем». В работе приводится много аналогичных примеров из английского языка, в которых предполагаемая интонация, наряду с артиклем, служит дополнительным маркером дефинитивности/неопределенности объекта. К сожалению, авторы в своем диахронном разделе не обращаются к русск. *ради*, также — в правой дислокации по отношению к объекту и шире — значимому слову (*чего ради?*), которое тождественно с перс. *râ* и этимологически (к и.-е. **rē-dh-*, IEW: 59—60). Предположительно, в обоих языках мы имеем дело с окаменевшей в послелог формой локатива утраченного существительного, либо с глагольной формой. Впрочем, задачу глубокой диахронии авторы перед собой и не ставили.

В небольшой работе М. Валерио «Палайское *fulāsinanza*: об одном анатолийском суффиксе — две возможных интерпретации» (Miguel Valério, *Palaic fulāsinanza: One Anatolian Suffix, Two Possible Explanations*, pp. 421—429) дается анализ указанной лексемы, представленной в поврежденной, предположительно — votивной надписи. По хеттским и лувийским данным, основа *fulāsin-* означает сорт хлеба (подношение богу), тогда как суффикс остается проблематичным. Хеттская форма *tuppianza* (при объектной форме *tuppi*, асс. ‘табличка’) снабжена эргативным маркером, однако аналогичная интерпретация формы *fulāsinanza* оказывается затруднена тем, что «в хеттском, лувийском и ликийском только слова среднего рода могут стоять в эргативе, тогда как *fulāsin-* входит в одушевленный класс» (р. 423). Альтернативной гипотезой, предложенной автором, является оценка формы *fulāsinanza* как адъективного образования с суфф. *-ant*

(ср. *peruna* ‘скала’ > *perunant* ‘скалистый’ etc.). Данное решение представляется дискуссионным и самому автору, который пишет, что в других палайских текстах (отметим — немногочисленных) аналогичная формула не засвидетельствована. Работа завершается предложением специалистам в области анатолийских языков более внимательно обратиться к анализируемой форме и найти возможные аналогии, как в эргативных конструкциях (которые, возможно, не всегда соблюдают приведенное выше ограничение), так и в адъективных формах.

В статье японской лингвистки Й. Ямадзаки «Эффект Соссюра в литовском» (Yoko Yamazaki, *The Saussure Effect in Lithuanian*, pp. 430—461) очень детально анализируются случаи, когда реконструируемый на прото-индоевропейском уровне ларингал в силу фонотактических условий (в сочетании с сонорным) не оставляет рефлексов в вокализме основ: **#HRo* > **#Ro-*, **-oRHC-* > **-oRC-*. Зафиксированный в италийских языках, греческом, хеттском и армянском, этот «эффект» (в русскоязычной традиции — «правило Соссюра»), предположительно, имел место на самом раннем уровне. Балто-славянские данные в данной связи, как отмечает автор, изучены не достаточно, и более того — действие правила Соссюра в балто-славянском, как отмечает автор, признается далеко не всеми, в основном, предположительно в виду того, что в данной группе языков рефлексы старых ларингалов реализовались не только в окраске гласных и появлении вторичной долготы, но и в акцентной парадигме, в балтийском в частности — в системе слоговых тонов (оппозиция доминантных акута и циркумфлекса, появляющегося там, где ларингала предположительно не было). Например: **gēnh₁-to-* > лит. *žentas* ‘зять’ при **ul^{kw}os* > лит. *vilkas* ‘волк’. Опираясь в основном на работу — Rasmussen J. E. *Studien zur Morphophonemik der indogermanischen Grundsprache* (Innsbruck, 1989), Ямадзаки осмысляет описанные в ней рефлексы «эффекта Соссюра» в балтийских языках, в основном — литовском, а точнее — анализирует причины не столь явного его присутствия (с ее точки зрения, говоря проще, далеко не все примеры Расмуссена, выглядят убедительными). Так, например, возведение лит. *žarmà* ‘иней’ к и.-е. **kriH-* и соотнесение лексемы с др.-англ. *hrim* оспаривается Ямадзаки, которая предлагает другую этимологию германских лексем: к и.-е. **krei-* ‘трогать, трясти; быть на поверхности’ (откуда лит. *krėnà* ‘сливки’, см. IEW, 618). В то же время, несомненное соотнесение литовской лексемы с русск. *серён* ‘ледяной наст, появ-

ляющийся после оттепели' (лексема засвидетельствована у Фасмера, но с другими параллелями — Т. М.), а также с латышск. *saīta* 'изморозь; седина' и литовским же *žármas* 'изморозь' позволяет, по мнению автора, поддержать предложенную в свое время В. М. Илличем-Свитычем этимологию, реконструирующую анит-корень (**kernom*) для балтийской «изморози» и сет-корень — для «инея» (в балтийском и славянском). В итоге, Й. Ямадзак предлагает вывести и.-е. этимон **ker(H)-*, отмечая при этом, что данная проблема нуждается в дальнейшем анализе (р.437).

Практически почти не находя нужных примеров и, напротив, обнаружив ряд других контрпримеров (например: лит. *kalvą* 'скала' < **kolH-u-*), она высказывает предположение, что данные балтийских языков должны в целом привлекаться к общей и.-е. реконструкции с большой осторожностью, ввиду их поздней фиксации, затрудняющей глубокое восстановление дошедших до нас форм.

В статье Александра Николаева «Германское обозначение *меча* и делокативная деривация в прото-индоевропейском» (Alexander Nikolaev, *The Germanic word for 'sword' and delocative derivation in Proto-Indo-European*, pp. 462–488) предлагается новая этимология общегерманского **sƿerða-* 'меч',

неясного по своему происхождению. Рассмотрев имеющиеся в настоящее время этимологии лексемы и признав их семантически немотивированными, автор предлагает соотнести германское **sƿerða-* с лувийским *š(i)ṣal* 'кинжал', восходящим к и.-е. **sh_{2/3}u-* 'острый'. Расширитель *-t-* маркирует в данном случае локативно-адъективное образование — «относящийся к остроте». В работе приводятся убедительные сопоставления с аналогичным локативным маркером как из германских, так и из других и.-е. языков.

Последняя работа выпуска представляет собой развернутую рецензию Н. Аллена на две недавно вышедшие книги Доминик Брикель о мифологии основания Рима и осаде его галлами (Nick Allen, *Early Rome and Indo-European Comparison: Dominique Briquel on Two Crises*, pp. 489–508). Рецензируемые исследования в основном анализируют символическую природу «вечного города» и трактуют его осаду с точки зрения дюмезилевских функций. Как показывает автор, Доминик Брикель, специалист в области классических исследований, выходит за рамки собственно античной истории и проводит много параллелей с нарративом «Махабхараты», что делает ее труды ценными для индоевропеистики в целом.